

АРКАДИЙ МАКАРОВ

**СОВСЕМ
КОРОТКАЯ
ЖИЗНЬ**

КНИГА СОВЕТСКОГО БЫТИЯ

Аркадий Макаров
Совсем короткая жизнь.
Книга советского бытия

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=20584428

ISBN 9785448309182

Аннотация

Эта книга написана на материале собственного опыта автора в те громкие времена, которые назывались советскими. Запоминающиеся были времена...

Содержание

Совсем короткая повесть...	5
1	5
2	7
3	10
4	13
5	15
6	16
7	19
8	22
9	25
10	29
11	31
12	35
13	39
14	42
Эпилог	46
Когда б имел златяя горы...	48
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Совсем короткая жизнь
Книга советского бытия
Аркадий Васильевич
Макаров

© Аркадий Васильевич Макаров, 2016

ISBN 978-5-4483-0918-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Совсем короткая повесть...

памяти племянника Володькина Олега

1

На теперь уже такой далёкой Афганской, как и на любой другой войне были и есть свои герои, но и свои палачи тоже. На таких, обычно война и держится. Хотя не всё так однозначно, как всегда бывает в жизни.

«Служили два товарища в одном и том полке...» – слова этой давней солдатской песни, как нельзя лучше подходят к героям этого повествования. Один был из жаркого Краснодара, а другой – из морозного Красноярска. Вроде города разные, а суть одна, и умещается она в первой части названия – «красно», то есть, – хорошо, любо, красиво, и жить удобно до самой старости.

Вот какие места сохранились ещё в России!

Ребята были отчаянные и смелые, таких обычно любят война и девушки. Война ведь тоже женского рода, только рожать не умеет, хотя мужскую силу высасывает жадно.

Сослуживцы звали одного из Красноярска Гогой, а другого, из Краснодара – Магогой.

Клички такие у них были...

И мы будем звать ребят так же, по солдатским понятиям: пусть один будет Гога, а другой – Магога, чтобы до конца соответствовать образу.

Гога воюет и Магога воюет – плечом к плечу, спине к спине, отбивая атаки воинов Аллаха.

Сами атакуют кишлаки, зачищая от живучих, как священные суры Корана, душманов.

Стреляй, солдат первым, вторым тебе нажать курок уже не придётся!

Поймали одного такого ловкого «духа», архара, козла горного, которому долгое время удавалось стрелять первым.

Вон они лежат, те, которые не успели, с застывшими в крике перекошенными детскими ртами. Ягоды русских полей...

Гога тоже стрелял первым и тоже был удачлив. Телефонным проводом связал руки, тому, кто не смог сегодня обогнать время.

2

Гога, Магога и ещё один парень, назовём его Ваня, вот и всё, что осталось от взвода, входившего в десантную роту, которая на сегодняшний день выполняла боевую задачу защиты братьев по классу от пособников империализма, тех самых душманов, которые недавно были тоже братьями по классу.

Недавняя перестрелка затяжная, как зубная боль, перешедшая в настоящую бойню, оставила трёх русских парней живыми, но с оголенными проводами нервов, по которым ещё пульсировал ток высокого напряжения боя.

Эти несколько часов проведённые под чёрным крылом Азраила, опрокинули навзничь все представления о жизни, как таковой.

Уход человека из этого мира был настолько стремительным и неожиданным, насколько стремительна и неожиданна сама пуля и это как раз больше всего вызывало ярость сопротивления. Животный инстинкт опережал саму мысль, заставляя уходить от смерти. И побеждал, конечно, он, первобытный, рациональный и безжалостный к врагу.

Закон войны неумолим. Закон этот не знает пощады и чужд всякого сентиментального чувства к противнику.

Но это – в бою. А теперь – вот он лежит, тот, который всего за несколько минут до этого, оскалив зубы, всаживал

и всаживал в тебя как гвозди, очередь за очередью свинцовых окатышей, любой из которых будет потяжелее самого Гиндукуша.

Закон войны навязывает под страхом трибунала относиться снисходительно к пленённому врагу и уважать его человеческое достоинство, хотя не всегда пленённого врага можно назвать человеком, но закон обязывает...

– Давай пристрелим эту суку душманскую! – говорит Магога.

– Не! – говорит Гога, – мы эту блядь в штаб доставим, пускай они ему там сами язык развяжут, а нам, которым сегодня повезло, отпуск дадут. Правда, Ваня?

– Ах-га! – как ржавая деревенская калитка, проскрипел сухим ртом Ваня, который хоть и не стрелял первым, но вытащил, вытащил свою козырную карту, неожиданно сорвав банк – имя которому – жизнь.

«Афганец» – безжалостный ветер пустынь, назойливый и зудящий, как таёжный гнус, мелкой песчаной пылью забирав надорванную боевыми криками гортань. Зубы перетирали эту пыль, и язык иссохший, как наждачная бумага, кровоточил и не помещался в исковерканном судорогой рту.

– Ах-га! – выдохнули обожженные глотки, шаря по карманам курево.

Мелкая дрожь в суетливых пальцах нашаривающих спасительные сигареты говорила о том, что если сейчас не сделать несколько табачных затяжек, то нужно упасть на эту чу-

жую неприкаянную землю, и, кроша зубы, грызть её каменья от обиды и боли за погибших товарищей и за свои, теперь уже навек загубленные жизни.

3

Война чужая и непонятная, пропахав по их ещё не раскрытым детским судьбам, уже запеклась кровавым сгустком возле самого сердца, и стала уже своей, как становится своей тяжёлая непоправимая болезнь.

Закури, солдат, отдышись, посиди на обожженном горячими ветрами чужедальнем камне, стисни голову руками и успокойся...

Но, как всегда бывает, – того, чего очень хочется, никогда не оказывается на месте. Последние сигареты были выкурены с лихорадочной быстротой в короткие промежутки между огневыми атаками.

– Эх, затяжку бы одну! – Магога пнул сидящего рядом на корточках душмана.

Тот, безучастно задрав бородатое лицо, испещрённое пороховым нагаром к небу, что-то бормотал, то ли в приступе отчаяния, то ли вымаливая у неба лёгкой смерти, отлично сознавая, что в таких войнах пленников не бывает.

Бородатый от неожиданности вскинулся злобным взглядом на русского солдата. Но потом, поняв, что от него требуется, закивал головой, показывая на карман своей кожаной куртки одетой поверх длинной, на выпуск, белой холщовой рубахи.

...

– Америка! – восхищённо проронил Ваня.

Ване сегодня посчастливилось выжить, но не потому, что он умел стрелять первым, а потому, что хорошо хоронился за лысым валуном, выпустив в «молоко» в первые же минуты боя все шесть магазинных рожков, а после, закрыв голову ладонями, лежал припаянный к земле так, что боялся собственного биения сердца, и не потому, что был трус, а потому, что бесконтрольно сработал инстинкт самосохранения.

Если кто думает по-другому, пусть попробует оказаться на его месте за тем лысым, лобастым горячим от пороховой гари камнем в долине Гиндукуша в то же самое время.

А-а? То-то и оно-то!

...Магога грязным обломанным ногтём стал отковыривать золотую фольгу обёртки, высвобождая единственно оставшийся у моджахеда маслянистый желто-зеленый закуржавевший брикетик прошлогоднего сена.

– Не нашенский табак, твою мать! – смело выругался тот же солдатик, которого только что привёл в восторг золотистый цвет самой упаковки. – Я думал у него «Кэмел», а это самосад какой-то? – вытягивал он тонкую шею, такую тонкую, которую одним привычным взмахом ножа мог бы пересечь этот сидящий у ног бородач, попадись солдат минуту назад ему в руки

– Дурак ты, Ваня! Бумажки на косячок дай! Ты ж у нас писарь, мамки домой соплями стишата пишешь. Сочинитель! Солдатик похлопал себя по карманам:

– Нет ничего!

– А это что? – Магога вытянул у Вани из нагрудного кармана гимнастёрки тетрадный лист бумаги, по которому были рассыпаны неуклюжие буквы, написанные непривычной к этому занятию рукой. – Мамка писала?

– Ах-га! Дай сюда! – солдатик попытался выхватить у Магоги, дорогое ему письмо из дома, где уже не будет покоя, пока Ваня, сынок дорогой, не вернётся в родное гнездо ясным соколом.

– Дал бы я тебе в хлебальник, да весь кулак об этого махмуда размолотил! – Магога ударил кованым армейским сапогом продолжавшего бормотать священные суры душмана, который тут же повалился на бок, уткнувшись разбитым лицом в сухую горячую пыль похожую на цементный порошок, да так и остался лежать в этой цементной перхоти.

Действительно, дорога в горы, перетертая за тысячелетия людьми, верблюдами и повозками, под жгучим солнцем представляла собой унылое и тягостное зрелище, вроде шёл бесконечный верблюжий караван ещё до столпотворения языков, и сыпал из прохудившихся мешков строительный цемент, предназначенный для воздвижения Вавилонской башни.

Магога, забыв о тяжёлом железе автомата, помогал вязать «махмуда», предварительно размолотив кулаки о высохший под азиатским солнцем его череп, до того, что костяшки пальцев теперь запеклись почерневшими кровавыми ссадинами.

Тряхнув несколько раз кистями рук, он стал мастерить самокрукту под столь знаменитый «табачок».

Таких «мастырок» хватило бы на весь его взвод, не полеги он здесь, в той же, забившей мальчишеские рты горячей перхоти, под мрачными глинобитными дувалами брызжущего со всех сторон свинцовыми окатышами небольшого кишлака, которого, – обойди стороной, – и не висеть бы теперь юному лейтенанту, распятому на ветвистой арче, полоская на знойном ветру обрывки содранной кое-как, наспех, ещё с живого, кожи.

Но Магога об этом ещё не знал, не знал об этом и Гога, и Ваня тоже не знал. Они перекрывали отход засевших в кишлаке моджахедов, отрезая им путь в спасительные горы, где один аллах хозяин.

И по этой дороге никто не прошёл. Лишь пузырились разбухшие под солнцем мёртвые верблюды да, в длинных, побабьи прикрывающих колени рубахах, бородатые нечистые люди.

Но вот теперь, в залитой солнечным маревом долине, кишлак мирно молчал, и трудно было поверить, что всего с полчаса назад, там, на зелёной арче мучительно расставался с жизнью их по-мальчишески нетребовательный командир. И на далёких русских просторах в девичьем сне больно торкнется в сердце какой-нибудь выпускнице ею не зачатый ребёнок и снова канет в космическую бездну. Не порадует Русь светловолосый мальчик своим появлением, не увеличит счёт её достойных сынов...

И у Магоги могли бы быть тоже дети. И у Гоги могли быть дети. И даже у Вани мог родиться светлоглазый, русский и во всём достойный сын России. И мой племянш Олежка мог бы горячо приобнять своего сына, и разжалованный за развал воспитательной работы во вверенном подразделении майор-десантник, по кличке Халдыбек, тоже, но этого не произошло по разным причинам, о чём и разговор...

.....

6

Казалось, все забыли про окоченевшего от неподвижности воина Аллаха готового в любую минуту с радостью отдать свою презренную жизнь во имя священной войны с неверными, предвкушая при этом счастливую встречу с предками, библейскими пророками и даже с самим Магометом, чтобы с честью держать ответ за свои земные поступки.

Руки и ноги пленного душмана, а проще «духа», как называли их советские солдаты, были крепко связаны телефонным проводом и стянуты за спиной в один узел, так что ни перевернуться, ни пошевелиться он уже не мог. И если его оставить здесь на тропе одного под раскалённым солнцем, он наверняка через несколько часов встретится, не знаю, как с Аллахом, но со своими предками – это уж точно. На таком солнцепёки даже тарантул и тот стремиться найти спасительную норку и переждать там до тех пор, пока каменная гряда не заслонит палящий, сияющий диск своей непроницаемой громадой.

Так и лежал он, отчаянный воин древнего Востока, перепоясанный путами неверных, выворачивая сизые белки глаз то ли в состоянии припадка, то ли в последней молитве белёсому, опалённому небу своей родины.

А Ваня, сеятель и жнец тамбовских полей, чернозёмной

земли пахарь, сегодняшний солдат-первогодок, заброшенный волею случая и штабных бумаг в пекло, откуда назойливо жужжа, вылетали свинцовые шмели, и смертельно жалили всех, кто оказывался на их пути, сидел, недоумённо перетирал руками безжизненную сухую пыль, плохо соображая, зачем он здесь и где его чернозёмы. Широко раскрытыми глазами с длинными выгоревшими под афганским небом ресницами он озирался кругом в блаженном наркотическом отсутствии реалий страшной мясорубки войны.

Рассеянный, блуждающий взгляд его нечаянно остановился на пленённом афганском повстанце, и Ване до слёз стало жалко одетого в бабью рубаху человека почему-то лежащего в пыли и спутанного по рукам и ногам жёстким проводом.

– Щас я тебя развяжу... Щас... – бормотал Иван, на четвереньках подползая к пленному.

Вот и нет, не все забыли того несчастного воина Аллаха, хотя понятие «несчастный» ну, никак не подходило к тому, что окружало со всех сторон его и троих советских солдат не по своей воле оказавшихся здесь, и в тоже время.

Гога лежал, опрокинувшись навзничь, и внимательно, сосредоточено смотрел в небо, туда, где из прохладной водной синевы выходили голенастые, голые девы и каждая манила его к себе, призывно распахивая крутые и белые, как сливки бёдра. Гоге было хорошо, так хорошо, что лучше и не бывает.

И только Магога, истинный пёс войны, тяжело ворочал

языком, перетирая во рту настрявший песок, остервенело дышал и, вперяясь глазами в лежащий рядом валун, говорил ему что-то отрывисто и зло, как говорят последнее слово врагу. Казалось, вот-вот он вцепиться в камень зубами и будет выгрызать его внутренности, пока до корней не раскрошатся зубы, а если и зубы раскрошатся, то он будет рвать дёснами вражескую плоть и выплёвывать кровавые ошмётки в эту горячую чахоточную пыль и топтать эту плоть ногами.

Вот уже Ваня подполз, бормоча всяческие утешения, к пленнику. Вот уже ухватил зубами жёсткий проволочный узел, который никак не мог развязать. Вот уже стал перекусывать молодыми крепкими, как сахар-рафинад, зубами скользкую медь провода, как вдруг откинулся назад простроченный наискосок автоматной очередью, словно толстой иглой по солдатской гимнастёрке прошлась гигантская швейная машина, продёргивая сквозь крупные отверстия красный шёлк ниток.

Магога, не поднимаясь, от живота так и не задев не одной пулей пленного, полоснул по Ване, потом, тупо уставясь на автомат, отбросил его в сторону.

Сразу стало тихо и пусто. И только воин Аллаха весело скалил зубы, что-то, гортанно выкрикивал, дёргаясь в своих путах.

– Толян, это же Ваня! Разуй шары, Толян! – сразу же всполошился Гога.

После автоматной дробы, на сияющем небе обнажённые девы, всполошено закричали пронзительными голосами, пряча свои потаённые прелести под чёрными перепончатыми зонтами, превратившись в стаю то ли больших летучих мышей, то ли крылатых первобытных ящеров. Потом и вовсе растворились в кипящем воздухе.

К Гоге мгновенно вернулось сознание.

– Толян, тебя же трибунал под вышку подведёт! Ты на боевом задании сослуживца преднамеренно грохнул!

Магога всё так же продолжал гневно буравить глазами лобастый валун, зло, процеживая сквозь зубы грязные ругательства. Наркота ещё держала его в безотчётном состоянии сомнамбулы, когда действует только подсознание, а мозг находится в полном параличе.

Гога знал, что делать в таких случаях. Он достал из подшумка пластиковый наподобие портсигара санитарный пеньальчик, прихватил маленький, заправленный атропином шприц, сдёрнул защитный чехольчик и быстро всадил иглу одурманенному другу прямо через рубчатую ткань гимнастёрки в мускулистое предплечье и выдавил из пластикового мешочка всё его содержимое.

Атропин подействовал не сразу. Но через некоторое время Магога стал шарить возле себя руками, боязливо поглядывая на Гогу. Вероятно, до него стал доходить весь ужас содеянного.

– Толян, посмотри, это же Ваня! За что ты его так?

Магога молча поднял с земли автомат, отстегнул магазин и, убедившись, что он пуст, отбросил его в сторону и вставил в освободившееся гнездо новый укладистый, полный рожок с патронами.

– Пошли в кишлак! Развяжи ноги этому гаду, пусть на своих двоих, сука, топает. Мы его прямо и доставим взводному.

Нам отпуск после этого полагается. А Ивана, чего вспоминать? Он всё равно бы в следующем бою лоб под пулю подставил. Доложим лейтенанту о героической смерти Ивана Дробышева, и его посмертно наградят орденом, и со всеми почестями в цинковом гробу похоронят на родине. Он уже отделался, а нам с тобой ещё воевать предстоит. И не узнаешь, где нас догонит пуля или нож такой же вот падлы! – Магога ударил коротким кованым десантным сапогом скалящего зубы моджахеда, и сам распутал у него на ногах провод. – Вставай, чего разлётся?

Пленный, кувыркнувшись несколько раз в пыли, неловко, с трудом поднялся и, покачиваясь, встал на затёкшие ноги.

– Ладно, – сказал Гога, – назад пятками не ходят! Рядовой Ваня Дробышев погиб смертью храбрых, выполняя свой интернациональный долг. Лучше этого не скажешь! Пошли! – он сунул ствол автомата воину Аллаха в спину. – Топай, давай!

По каменистой, обрывистой горной дороге под невыносимым слепящим афганским солнцем, перетирая на зубах тысячелетнюю песчаную пыль востока, шли трое кровных братьев-близнецов, рождённых одной распутной женщиной, имя которой – Война. Изжёванные сосцы этой мерзкой бабы источали не молоко, а кровь, поэтому назвать этих детей Войны молочными братьями значит впасть в грех святотатства.

После ярого, как утренний намаз, боя, кишлак в зелёной долине вновь продолжал жить своей жизнью.

Мыкающиеся по горным тропам остатки прежде разбитого каравана шедшего с оружием от самой пакистанской границы, измученные жаждой и голодом свернули в мирный кишлак, где и напоролись на взвод советских интернационалистов и были, как позже скажут в сводках, уничтожены.

И вот уже вновь голосисто призывал на полуденную молитвы с невысокого минарета мулла, словно ничего не случилось под равнодушным небом. Словно только что не кричал советский мальчик, распятый на развесистой арче, обливая кровью её узловатые корни, и не лежали под дувалами с распахнутыми ртами примерённые и успокоенные общей смертью яростные враги.

Мальчишки с восточной предприимчивостью уже обша-

ривали мёртвых, выискивая всё, что может пригодиться в хозяйстве. И только оружие, разбросанное здесь и там, за исключением автоматных рожков с патронами, не привлекало их внимания, этого добра у них по захоронкам было, хоть отбавляй.

Между убитыми ходили молчаливые тощие коровы, подбирая узкими тонкими губами вместе с колючками, пропитанные оружейным маслом плотные клочья пергамента от боекомплектов, и спокойно пережёвывали всё это за неимением другого корма.

Старики, выползая на солнечный свет, мудро шурились, пропуская меж костистых пальцев седые узкие бороды, и молили Аллаха о милосердии.

– Топай, давай! – то и дело совал в бок пленённому короткий ствол автомата Гога, торопя передать пойманного «духа», своему командиру, тому лейтенанту, который уже никогда не будет не то чтобы генералом, но и старшим лейтенантом точно не станет.

Магога шёл рядом теперь прочуханный и трезвый, с ненавистью поглядывая в спину афганца, из-за которого так глупо погиб Ваня, солдат-первогодок, которому до смерти ещё жить бы да жить, строгая конопатых губастых, как и он, детей на радость жене и заботу своей отчизне.

Но в разбитый кувшин воды не нальёшь. Что есть, – то есть, что было, – то было. И он мог бы так же оказаться под скорой рукой обкурившегося Гоги, не обнаружь тот

в белёсых от жары небесах соблазнительных голых красоток выставляющим на показ своё откровенное женское естество, имеющее невозможную притягательную силу, да такую, что – лица не отвернуть.

Ранее крикливые и вёрткие афганские мальчишки, сноровисто обиравшие погибших бойцов, как своих, так и советских, догадливо рассыпались по глинобитным норам, как только увидели в идущих солдат затаённую угрозу и смерть.

Сразу стало так тихо, что было слышно, как сухо шуршит бумагой одинокая тощая корова, пасущаяся на каменистом пустыре под развесистой арчой, где в страшном оскале беззубого рта застыл последний крик лейтенанта зовущего на помощь далёкую русскую мать.

Возле этого странного дерева, на котором вместо листьев топорщились пахучие густые и мягкие, как у можжевельника или сибирской лиственницы, зелёные щётки иголок, высокомерно задрав орудийный ствол, стоял с развороченной башней, дочерна выгоревший советский танк без гусеничных траков.

Из высоколегированной стали этих траков, предприимчивые восточные умельцы, делали великолепные пуштунские ножи специальной закалки, которыми можно было запросто рубить гвозди.

Судя по всему, танк выгорел от прямого попадания реактивного гранатомётного снаряда ещё в давнее время, – корпус его был покрыт густым слоем мелкого песка из-под которого, несмотря на копоть, проглядывали ржавые проплешины.

Как попал сюда танк, никто из жителей не знал. Только выглянув из своих глинобитных нор наружу после оглушительного взрыва, они увидели высокое коптящее пламя и разбегающихся в разные стороны людей в черной одежде.

После, этих людей они больше не встречали.

Теперь, возле танка под скопищем больших зелёных мух, лежали несколько моджахедов с развороченными внутренностями. Прицельная работа уже советского гранатомётчика

из погибшего здесь взвода.

Магога, посмотрев на трупы, пустил несколько очередей в сторону кишлака, то ли для острастки, то ли для того, чтобы объявить оставшимся в живых однополчанам о своём присутствии.

Но после дробного частотола выстрелов стало ещё тише, только тщедушная скотина, больше похожая на большую поджарую и рыжую собаку, видимо привыкшая к подобным звукам, коротко мыкнула, продолжая перебирать губами шуршащие бумажные ключья.

Гога тоже, вскинув одной рукой автомат, другой, придерживая пленника, пустил в сторону арчи очередь и тут же оборвал её, увидев на дереве своего лейтенанта.

– Толян, смотри, что сделали с командиром, сволочи! – Гога указал стволом на арчу.

– Ах, волки позорные! – переходя на язык уличной городской братвы, проскрипел его грозный товарищ, полоснув глазами связанного пленника. – Распутай этой сволочи руки, мы его рядом на телефонном проводе вздёрнем!

Афганец, почувствовав непонятную для себя угрозу, только оскалил мелкие, по-кошачьи острые белые зубы, закурлыкав горлом непонятные и чуждые русскому уху словосочетания.

Гога молча, распутал длинный в пластиковом покрытии гибкий и скользкий провод, деловито обрезал ножом один конец и передал своему другу:

– Не погань арчу! Ему танковый ствол впору будет!

Другим концом он уже умело стягивал обречённому выше колен ноги.

Магога, не выпуская из рук автомата, ловко взобрался на броню, потрогал для уверенности массивную свёрнутую набекрень башню, которую можно было бы и не трогать, башню заклинило намертво. Толстостенная, литая труба орудийного ствола в прочности сомнений не вызывала и могла выдержать не одну тонну.

Магога закинул за спину автомат, посмотрел ещё раз на искромсанного ножами лейтенанта, сложил вдвое провод, захлестнул петлю и стал прилаживать её на башенный ствол так ловко, что можно было подумать – он занимался этим по жизни всегда:

– Ну, молись своему Акбару, гад! – Магога спрыгнул на землю.

Суть всех приготовлений советского солдата сразу же дошла до пленника.

Он дико закричал, закружился на месте, пытаясь перекусить на руках вены. Но в молодом теле вены были столь прочны, что выskalзывали от укусов, оставляя на руках только надорванную зубами кожу. Глаза его от отчаяния стали выкатываться из орбит, и жёлтая пена запузырилась на окровавленных губах.

Афганец снова и снова рвал на руках кожу, переходя с крика на звериное рычание.

Умерщвление через повешенье по законам Шариата считается самой страшной и позорной казнью для мусульманина. По исламу, душа каждого человека живёт в его крови, и если кровь не была пролита, значит, душа не может выйти из теснины правоверного тела и предстать перед Аллахом для покаяния и суда, тогда душа обречена вечно находиться в заточении и мраке ада.

Потому повешенье применяется в исключительных случаях даже для неверных, а единоверцам, приговорённым к смерти, всегда перерезают горло, выпуская вместе с кровью и душу.

10

Гога, стоявший позади обречённого воина Аллаха, сжалившись над ним, резким ударом приклада в шейные позвонки возле основания черепа, переломив их, полностью парализовал его конечности. Крики и рычание мгновенно пресеклось, и афганец обвисшим мешком свалился на землю, и только жёлтая пена всё продолжала пузыриться и пузыриться в его последнем оскале.

– Зря ты его вырубил! Пусть бы поплясал на шнуре. А теперь что с ним делать?

– Как, что? Шея-то у него цела. Пусть покачается на башне для остратки. Давай его в петлю сунем.

– Давай!

Обвисшее тело с мотающейся в разные стороны головой не как не хотело лезть в петлю.

Снова бросив тело на землю, Магога кошкой вспрыгнул на башню, распутал провод и кинул Гоге:

– Затяни петлю на шее, а другой конец давай мне!

Гога быстро в два раза, прихватив заодно и вздёрнутую броду афганца, затянул петлю, а другой конец передал товарищу.

Магога перекинул провод через башенный ствол и, обмотав проводом свою кисть руки, другой, так же схватившись за провод, повис на нём контргрузом.

Весил Магога килограммов под восемьдесят, и потому щуплый и теперь уже совсем не страшный душман, «дух», оторвавшись от земли, тут же размашисто закачался на короткой трубчатой консоли ствола.

Закрепив провод за остатки трансмиссии танка, Магога для верности подёргал висельника за ноги обутые в американские кроссовки, но тот не подавал никаких признаков состояния агонии. Гога основательно перешиб ему шейные позвонки, обеспечив тем самым полный паралич конечностей.

Наверное, правоверный уже предстал перед своим Богом, и теперь отчитывается за свои земные дела, поправляя ошейник из кручёного медного провода советского производства.

Любое дело требует завершения. Магога оглянулся по сторонам, неожиданно вспомнив, что их миссия в кишлаке окончена, и надо срочно что-то предпринимать, чтобы выбраться из этого гиблого места, где смерть стоит на часах бдительно и неотступно.

Низкие приземистые саманные дома без окон на улицу были похожи скорее на норы каких-то необычных гигантских насекомых, чем на человеческие жилища. Пустая улица уходила в горную расщелину, откуда можно было ожидать в любую минуту нападения. Но тишина и мерное шуршание на ветру сухой безжизненной на первый взгляд растительности больше похожей на оборванные мотки колючей проволоки, говорили о том, что кишлак опустошён и мёртв, и надо было каким-то образом этим двум ангелам войны добираться до расположения родной части.

– Витька бросать что ли? – указал тот, которого звали Гогой, на распятого лейтенанта, в обрывках кожи которого уже возились, высасывая молодую сладкую плоть, большие зелёные мухи, источая при этом невыносимый запах разложения.

Лейтенанта за его молодость и мальчишеские повадки солдаты называли за глаза Витьком и часто устраивали ему всяческие не всегда безобидные «приколы», а потом веселились над его оплошностью.

Лейтенант же в своих подчинённых видел не только исполнителей приказов, но и боевых товарищей. Над шутками не обижался, но и сам мог подвести какого-нибудь неумеху и ротозея под смешки его товарищей.

Солдаты любили своего командира, и теперь эти двое, по счастливой случайности, уцелевшие в живых, никак не могли оставить своего «Витька» здесь до того, как сюда придут те, кому это положено.

Телефонным проводом связь с расположением части не установишь, а ждать вертолёт было совсем небезопасно. Двух солдат просто так, из-за чувства национальной солидарности, здесь мог пристрелить из-за угла любой востроглазый афганёнок. Они на это дело большие мастаки. Автомат для местных мальчишек являлся самой привычной и необходимой вещью ещё с пелёнок, и если какой мальчишка стрелял, то промахивался редко.

Чтобы не попасть под такой шальной выстрел, бойцам надо было срочно покидать этот мрачный кишлак, да только на чём? Сотню километров по чужой стране в такую жару не протопаешь, а уходить отсюда было надо.

– Витька бросать что ли? – повторил Гога, показывая на рогатившийся никелем руля возле одного дувала, мотоцикл советского производства с коляской.

Это был старый «ИЖ» приспособленный предприимчивым, как большинство азиатов, торговцем для перевозки товаров.

Магога направился туда, поводя Калашниковым в разные стороны, чтобы опередить нападение. Но улица молчала за- таённая в своей ненависти к чужеземцам, хотя те оказались здесь вовсе не по собственной воле, а по воле политической необходимости, хотя и сомнительной. Долг солдата – упасть и не встать, чтобы на его крови был построен новый скотный двор. Новый курятник со своим установившимся порядком: кто выше сидит, тот и гадит на головы тех, кто ниже.

Немного повозившись возле мотоцикла, Магога закоротил напрямую замок зажигания и дёрнул ногой кикстартер. Мотор зачихал, задымил голубой гарью, и снова заглох.

Откуда-то из норы в тяжёлой саманной стене стали выползать на улицу люди. Видимо тарахтенье мотоцикла заинтересовало их, и любопытство пересилило страх.

Наверное, это были члены одной семьи – старик седой с узкой клочковатой бородой в длинной белой рубахе, несколько женщин закутанных в тряпье и пара вёртких пацанов.

Люди стояли поодаль, не решаясь подойти поближе.

Мотоцикл, по всей видимости, был их приобретением. Они что-то говорили между собой, не обращая напрямую к солдату, который так бесцеремонно распоряжается их имуществом.

Гога, чтобы поддержать товарища, тоже направился к мотоциклу.

Вдвоем они, не обращая внимания на появившихся лю-

дей, выкатили мотоцикл на середину дороги, пробежали с ним метра два-три, и он снова взревел двумя никелированными трубами.

Солдаты остановились возле арчи.

– Эх, Витёк-Витёк! – приговаривали они, снимая с дерева своего командира, которому так не повезло в его короткой жизни.

Афганцы, мужчины, в любую погоду часто носят с собой, обычно на плече, свёрнутое байковое одеяло. Оно служит и молитвенным ковриком для намаза, и верхней одеждой и крышей над головой, если ночь застала в дороге и скатертью при скудных трапезах. Короче, – вещь на все случаи жизни.

Бойцы вытащили из-под одного такого правоверного, который теперь без лишних земных посредников встречается с Богом, и моельный коврик ему уже не нужен, тем более не нужны ни крыша, ни скатерть для трапезы, добротное одеяло, да не из бумазейной байки, а из настоящей верблюжьей шерсти.

Удачно словивший советскую пулю, наверное, был командиром и вместо знаков отличия, в полевых условиях он носил полагающееся ему по чину одеяло из лучшей ткани. Ведь носили же советские генералы лампасы на брюках и барашковую папаху на высокой голове...

Вот и пригодилось советскому лейтенанту это самое одеяло для прикрытия страшной, кровавой наготы своей и по-

следних безобразий смерти...

Его, спеленали неумелые мужские руки, но спеленали так, как пеленают русские женщины своих младенцев.

Завёрнутого в шерстяной кокон лейтенанта уложили в мотоциклётную люльку.

В люльке до половины её объёма находилась россыпь золотых пахучих шаров. Апельсинов было столько, что ноги командира в люльке не помещались, и Гога, черпая пригоршнями сочные оранжевые кругляши, насыпал возле мотоцикла целую горку. Почти, как у художника Верещагина. Но эта горка был больше похожа на апофеоз мира, апофеоз щедрости мира.

То ли заинтересовавшись происходящим, то ли с намерением что-то сказать, семья во главе со стариком в белой бабьей рубаше, осторожно переступая, словно под ногами рассыпано битое стекло, двинулась к тому месту, где возились непонятные солдаты, где недавно сытно пообедала война, на заедки, проглотив и оскверненного неподобающей смертью правоверного, теперь висевшего подмоченной тряпкой на высоком орудийном стволе.

Боясь подойти ближе, процессия остановилась метров за десять от арчи.

Старик, оглаживая бороду ладонями, как перед намазом, стал что-то горячо говорить, жестикулировать руками, прикладывая их к сердцу, поворачивался к своим домочадцам, снова хватался за сердце, складывал ладони крест-накрест,

и, разъединив их, вздымал к небу, как алчущий Бога библейский пророк.

Гога, наклонившись, поднял с земли один из кругляшей и, подкинув в ладони, кинул деду. Тот ловко, по-молодому, поймал оранжевый шарик и передал рядом стоящему мальчику. Мальчик, тут же обливаясь соком, впился зубами в податливую мякоть.

Дети не понимают происходящего, но тонко, на уровне инстинкта, чувствуют напряжение, разлитое в окружающем пространстве. Наверное, поэтому мальчик и стал показывать всем своим видом, как ему нравится апельсин, подаренный чужим страшным дядей.

Гога кинул ещё один апельсин, старик снова поймал его и передал то ли девочке, то ли маленькой женщине закутанной в чёрную мелкаячеистую сеть из-под которой виднелись только одни узкие кисти рук.

Гога кидал и кидал апельсины. Старик ловил их, благодарно улыбался узким щербатым ртом и передавал фрукты кому-нибудь из стоящих рядом.

Но вот, резко повернувшись, Гога сказал что-то быстро своему другу, выхватил из нагрудной опояски чёрный ребристый кругляш чуть поболее тех оранжевых и выдернул чеку: – Лови! Оп-па! – и кинул согнутому в уважительном поклоне аксакалу, который, тут же выпрямившись, изготовился его поймать.

Мотоцикл взревел, буксанул задним колесом выбрасывая

из-под себя мелкие камешки, и рванул вниз по склону туда, прочь из проклятого кишлака, где полегли их товарищи, не дожив даже до первой настоящей любви.

За спиной сквозь свист ветра в ушах и тархтенья мотора сухо громыхнуло, – так иногда в солнечный день громыхнёт на безоблачном небе и не одной дождевой капли, только оглушительная тишина.

Дороги в Афганистане вымощены самой природой, а природа, как известно, слепа. Под колёса мотоцикла попадали, кажется, самые крупные камни, и люльку подбрасывало так, что находившийся в ней лейтенант всё норовил выскочить на дорогу, и Гоге приходилось одной рукой попридерживать страшный в своей сути мешковатый шерстяной куль.

Каждая дорога в мире где-нибудь да кончается.

Ехали быстро, но долго.

Гнали мотоцикл на всех газах, боясь нарваться на автоматный ливень из засады, или на одиночный выстрел охотника с гранатомётом. Но дорога по обе стороны была просторной и открытой со всех сторон, так что спрятаться в секрете было невозможно никакому бородачу.

Ехали быстро и влетели в самый, что ни на есть тупик.

Военный аэродром и расположенный здесь же, обочь лётного поля палаточный городок советской части охранялся в два эшелона – по внешнему периметру охрана велась Народной Армией Афганистана, внутренняя же охрана осуществлялась собственными силами десантного полка, в котором и служили два товарища с библейскими прозвищами – Гога и Магога.

Над блокпостом, сооружённом из массивных бетонных брусьев, подбитым крылом, пытаюсь отмахнуть от себя существующее пространство, трепыхался чёрно-красно-зелёный государственный флаг Афганистана.

Въезд на охраняемую территорию преграждал сваренный из труб полосатый шлагбаум, за которым перепоясывала дорогу широкая транспортёрная лента, униженная стальными шипами-заточками, что говорило о строгом пропускном режиме.

Магога чуть не сбил рулевой колонкой кинувшемуся ему навстречу солдата дружеской армии с лицом тёмным, как голенище кирзового сапога, и раскрытыми то ли для братских объятий, то ли, загромождавая дорогу, руками.

Двое других, видя на мотоцикле советских бойцов, продолжали стоять за шлагбаумом, спокойно лузгая, может, се-

мечки, а, может, калёные на огне земляные орешки арахиса.

– Парол! – крикнул тот, с тёмным лицом и распахнутыми руками труднопроизносимое слово.

– Сим-Сим, твою мать! – злобно оскалясь, соскочил с заднего сидения Гога и сдёрнул шерстяное, в крупную жёлтую клетку одеяло с лица своего командира, лейтенанта советских десантных войск, Витька, мальчишку с тамбовской рабочей окраины.

Охранники, бросив грызть орешки, с любопытством окружили коляску, и заталдыкав о чём-то между собой, засмеялись.

Но смех быстро оборвался.

Огненная метелка, выскочившая из ствола у Магоги, разом подмела этих смехачей в одну кучу.

Они, наверное, и до сих пор смеются перед престолом Аллаха...

Караульная рота под командованием всё того же Холдыбека, на автоматные очереди поднятая по тревоге, зафиксировала нападение на блокпост охраны аэродрома душманской банды. Банда была отброшена и рассеяна, унося своих погибших и раненых единоверцев в одном им ведомые щели и закоулки.

Вернувшиеся с боевого задания Гога с Магогой были награждены боевыми орденами и ценными подарками за героизм, проявленный при защите мирных дехкан того кишлака, на который сделала нападение зверская орда обкуренных га-

пишем мародеров.

Служить бы ребятам ещё, как медным котелкам, разбивать бы им подошвы солдатских сапог, обучаясь строевому шагу на бетонных плацах военных городков, как их погодики в благословенном тогдашнем Союзе, да война эта проклятая забрала тело и душу, и воевали они, скобля подошвами, каменистые кручи Гиндукуша, и вычёсывали из чахлой растительности врагов афганского народа, который, народ этот, сам не в состоянии постичь – где друг-кунак, а где – шайтан-вражина.

А на войне, как на войне!

И стали забывать командиры о строевой подготовке, и железо воинского устава свободно процеживалось сквозь обоженные пороховой гарью пальцы.

Даже у майора по кличке «Халдыбек», который после строевого смотра высокого начальства из Москвы сразу стал капитаном, строгий строевой устав тоже, слава Богу, превращался в пластилин, из которого можно было слепить всё, что подсказывала боевая обстановка. Штабное начальство далеко, а смерть – вот она, только подними голову!

Горные дороги и тропы извилисты и обманчивы – идёшь вперёд, а оказываешься позади того места, откуда вышел.

Вроде отфильтровали горную гряду, зачистили, кого могли, отшлифовали подошвами кручу, карабкаясь наподобие

козлов-архаров по камням, и ничего приметного не заметили.

Спускаясь в долину, расслабились. Да невзначай попали в засаду. Хлещут со всех сторон свинцовые струи, а откуда – сразу и не поймёшь.

Хитёр бывший майор Халдыбек, а полевой командир, тот самый, – Саббах Мухамеддинов, хитрее и коварнее: – «Аллах Акбар!». Велик Аллах. Велик гнев его...

Рассыпались интернационалисты во главе с Халдыбеком горохом по ущелью, кто ещё на ногах держался. Залегли, – как упали. А, где упали, там уже не встать...

Гога, отбросив, теперь уже бесполезный Калашников, резко перевернулся на спину; в нём взбунтовалась мускулистая жажда жизни – всаживать и всаживать до скончания веков свинцовые окатыши в кричащие злые морды бегущие со всех сторон без конца и без края. Вот они уже совсем рядом чумазые и бородатые с жёлтыми осками зубов.

Последняя... Заветная захоронка... Дорогая, как девичий локон, зашитый у самого сердца в нагрудном кармане гимнастёрки... Вот она, та, которая – на всякий случай... Ребристые бока её хранят тепло молодого тела. Кольцо от себя!.. Прости меня, мама!

Николая Рогова со школьных лет кликали – Гога! Трудно давалась Коле раскатистое «ррр». Вот и называл он всегда свою фамилию – вместо Рогов, никому непонятным – Гогов. Ну, раз ты – Гогов, то кличка «Гога» будет тебе в са-

мый раз. Изволь принимать и не обижайся! Николай Рогов и не обижался. Сам умел припечатывать клички, как штемпеля в паспорте – не отскребёшь...

Разбросало Гогу впережку с чумазыми и бородатыми ошмётками по камням, и душа его, освободившись из грудной клетки, унеслась в свободном парении к горнему престолу, туда, где оставлено место для каждого христианина...

Стылым, безрадостным утром в морозном Красноярске, опрокинется мать навзничь, забьётся, заплещется на полу белорыбицей, и никто не сможет утереть слезы её, кроме Господней ладони... «Твори, Бог, волю свою!»

Анатолий Магнолин, детдомовец и пэтэушник до службы в армии никакой клички не имевший; то ли собратья обидное прозвище ему боялись давать, с опаской поглядывая на его увесистые кулаки, то ли никакие прозвища не хотели к Магнолину лепиться.

Вообще-то у него была кличка на всё время – Магнолин, которая теперь служила ему фамилией. Завёрнутого в шёлковую косыночку младенца обнаружила сердобольная нянечка под развесистой магнолией в своём детском интернате. Вот воспитатели и записали его – чей? – Магнолин! Чей же ещё? И дали имя по святцам – Анатолий.

В Армию Толя Магнолин ушёл сразу же после выпуска из Краснодарского ПТУ, где он учился на монтажника стальных конструкций, в дальнейшем – верхолаза. Все монтажники стальных конструкций выше четвёртого разряда – верхо-

лазы, а Магнолин пока имел только третий разряд. Но он бы мог иметь и пятый, и шестой и даже выучиться на мастера, если бы не Саббах Мухамеудинов, полевой командир пуштунского ополчения перехитривший его командира, разжалованного до капитана, майора Халдыбека.

В армии кличка «Магога» пристала к рядовому Магнолину, только благодаря тесной дружбе с Гогой, рядовым Николаем Роговым. Да так прикипела эта библейская кличка, что её не отодрать, как запёкшуюся кровью солдатскую гимнастёрку с рваной раны...

Крепкие нервы у Анатолия Магнолина: расстреляв последний магазин патронов, он, примкнув к автомату штык-нож, пошёл на ревущих моджахедов в рукопашную, но, один из бородачей воровским приёмом сзади полоснул отчаянного солдата кривым азиатским ножом по горлу, выпустив его душу вместе с кровавой пеной наружу.

Последнее, что видел Магога в этом мире, – позор своего командира, который с поднятыми руками встал из-за освещённого закатным солнцем лысого валуна. «Эх, Холдыбек ты, Холдыбек!» – только и подумал он, как горло невыносимо обожгло крутым кипятком и всё померкло.

Душа Магоги и до сих пор парит над Гиндукушем в ожидании своего омовения горячими слезами. Но кто оплачет в этом мире сиротскую душу рядового Анатолия Магнолина? Так и кружит русская душа эта вместе с горными орлами в горячем небе Афганистана.

Эпилог

Офицер Советской Армии с крестьянской фамилией Земцов, ныне инструктор диверсионного взрывного дела в отряде Саббаха Мухамеддинов за свои знания имел нескрываемое уважение самого Саббаха, таджика по национальности, и пуштуна по коварности и жестокости.

С кадрами грамотных бойцов в отряде Мухамеддинова было так просторно, что бывший враг всегда мог пригодиться для святого дела борьбы с умными шурави их же оружием.

Саббах знал – хорошо готовят в советских военных академиях, так хорошо, что один из его бойцов попытавшийся перерезать в запале горло пленённому офицеру, получил удар в зубы от самого Мухамеддинова.

Холдыбек – кличка, а фамилия офицера верная, Земцов, организовал обучение по всем правилам военного искусства, с выходом на полевые практические занятия.

И вот однажды при получении боеприпасов для сдачи экзамена на подрывника Холдыбек сам распорядился, какой вид взрывчатки полагается тому или другому боевику.

В это время в складском помещении находилось около сотня «курсантов» и даже сам Саббах, окружённый всяческими почестями своих подчинённых, здесь вальяжно пил горячий шербет, развалиясь на персидском диване, принесённом сюда специально для него нукерами.

Самое время и место для подрыва. Другого такого случая может и не быть. Дорог час, дороже не бывает...

Как удалось бывшему майору Советской Армии, теперь инструктору у самого Мухамеддинова, вместе с отрядом головорезов взорвать себя и склад с боеприпасами, ныне никто не узнает. То дела минувших дней, и загадок у новой России появилось больше, чем могло бы быть ответов, поэтому и мучается душа русского героя-офицера и не находит себе покоя.

Когда б имел златыя горы...

Памяти Фомичёвой Евдокии Петровне

Господи, скорее бы заходило солнце! Сумел бы тогда Петр Петрович, крадучись, овражками выбраться из села, а там, глядишь, залег бы, укрылся во ржи, и поминай, как звали. Ночью – другое дело! Ночью конечно...

Но, умаявшееся за день солнце, никак не хотело двигаться до заветной черты. Оно, прислонившись щекой к островерхому стожку, с интересом наблюдало, что творилось вокруг. А вокруг творилось неладное.

Только что оценившаяся сука захудалой породы с обвисшим, как мокрая половая тряпка, животом, пустым, с розовыми сосцами, выла истошно и жутко. На низком, скобленном к воскресному дню порожке, размазывая маленьким кулачком сопли, видя недружелюбных мужиков, исходил ревом Колюша, четырехлетний пузанчик, сын еще совсем молодой женщины, которая то и дело складывая ладони у подбородка, оправдывалась, что-то говорила чернявому парню, перепоясанному короткой, кривой татарской, еще времен Степана Разина, разбойничьей саблей. В руке у парня, выбросив красную метелку огня, оглушительно жахнул курносый винтовочный обрез. Женщина, вздрогнув, глянула себе под ноги, брызнувший фонтан пыли запорошил ее босые, по-

крестьянски широкие ступни ног. Еще сильнее завопил Колюша, еще истощнее взвыла сука, еще отчаяннее замотала головой, что-то отрицая, молодая женщина Евдокия, Жена Петра Петровича, бывшего моряка с легендарного крейсера «Олег», а при новой власти, председателя волостною Совета.

Один из шаривших во дворе мужиков отстегнул от пояса круглую рубчатую, как кедровая шишка, бомбу и легонько подкинул ее ревущему, по чем зря, мальцу. Колюша заинтересованный тяжелым кругляшом ухватил бомбу грязными ручонками и потянул к себе.

Рев сразу же прекратился.

Будущий офицер Советской Армии Николай Петрович Бажулин погибший в первые часы войны, обороняя Брестскую крепость, таким образом впервые познакомился с одним из видов метательного оружия осколочного действия.

Бомба с вывернутым запалом не представляла никакой угрозы, и мужик, по-хозяйски осмотревшись, полез на чердак искать исчезнувшего хозяина дома.

Чернявый молодой казак, перекинув в левую руку еще дымящийся обрез, выхватил узкую, как девичья бровь, саблю и с одного замаха перерубил воющую суку пополам. Собака, еще не поняв что с ней случилось, заскребла передними лапами землю, пытаясь уползти в конуру, где возились, попискивая, маленькие слепые живые комочки. Задняя половина туловища кровянила рядом.

Казачок, выдернув из стожка пучок подвинувшего сена,

деловито вытер голубое с красными подтеками лезвие.

Евдокия только всплеснула руками, боясь что-либо возразить быстрому на руку казаку.

В село пришел Мамонтов, выпрастывая из душных изб большевистских наместников и их подголосков. Населению зла они не чинили. Собрали на майдане народ и объявили о роспуске Советской власти.

Подголосков в селе не было. Какая власть, таков и порядок. Всякой власти надо подчиняться, лишь бы не мешали косить сено. Вона ноне кака трава вымахала! Дождей Господь послал вперед, по второму покосу отава, как куга болотная, коню вскачь не проскакать, ноги в траве путаются.

До колхозов было еще далеко, и сельчане к Советской власти относились, как к любой власти, – безразлично.

Ну, пришел Мамонтов! Ну, и что? Плуг с косой не отнимают, а так, как-нибудь проживем, живы будем.

– Мужики! – выбросив руку вперед, кричал сотник. – Советская власть, слава Богу, кончилась. Нету жидовской власти! Больная, обворованная Россия скорбит о павших героев своих, сынов, заступников чести материнской от рук изменников Отечества – коммунистов! Заразный корень угнездился и в вашем Совете, ныне упраздненном нами. Отставной козе барабанщик, балтийский матрос, горлопан Петро Бажулин, который правил волостью, по слухам скрывается здесь, у вас. Покажите его, и Россия будет вам благодарна. Это не предательство. Хирургический нож – сотник выта-

щил саблю и вздыбил ее над толпой, – отсечет червивый отросток от здорового дерева русского крестьянства!

Сотник, видимо, знал, что говорил. Народ повернулся к замершей в остратке Евдокии. Трое казаков подошли к ней и кивком головы приказали вести их к дому, где она проживала вместе с матросом революционного крейсера «Олег» Петром Петровичем Бажулиным, председателем волости, ныне скрывающимся от возмездия ратоборцев разоренной России.

Евдокия шла на ватных ногах к своей избе, моля Богу, чтобы успел ее хозяин задами и огородами уйти из деревни и отсидеться где-нибудь в логу, пока неутомимые охотники за коммунистами не оставят деревню в покое. Такое уже случаясь не раз – то красные белых ищут, то белые – красных. Разве простому человеку разобраться, где она – правда. И те, и эти за крестьян. И те, и эти за Россию. Только одни не изменяли священной присяге, а другие отнесли ее в отхожее место обольщенные всевозможными крикунами, возвестившими разрушение мира своей неотложенной задачей.

«Говорила я ему, – думала про себя Евдокия, – не возись ты с этими волосатикам, откуда-то нагрянувшими в деревню. Не пей с ними. Остепенись. У тебя, вон, Колюша растет. Хозяйством займись. Плуги-бороны почини. Совсем отвык от дома. На сходках самогон жрать, да табак курить мастаки. А он стукнет кулаком по столу, достанет бумажку из кармана и сует в нее пальцем: «Смотри, дура! Бумага от само-

го Ленина. Мандат называется. Я за новую власть мужиков агитирую. Ну, иногда прихожу выпимши, а что здесь такого? Не твоего ума дело! Чем мне царь за исправную службу одарил? Вот этой ложкою серебряной, да парой червонцев золотых? Мне и деревянной ложкой сподручней хлебать, лишь бы хяебово было. А тут бумага от вождя революции, дающая право на власть. И револьвер – вот он! Им что, гвозди чтоль забивать?» – и клал на стол длинноносый щекастый, с отогнутым назад курком наган.

Господи! Ухлопают мужика! Порешат, как есть порешат! Петр Петрович вон тоже спервесны, когда пришли красные, собственноручно застрелил донского лазутчика, притворившись бродячим кузнецом, и вынюхивающим на селе расположение красных командиров. Как не хотел кузнец уходить на тот свет, а пришлось. Взял Петр Петрович грех на себя, а теперь вот самого ищут должок отдать, расплатится по-честному за того донца. Хоть сбежал бы куда, под землю провалился. Засекут саблями хозяина-кормильца. Ах, Петр Петрович, Петр Петрович! Что ж нам с Колюшей делать, коль тебе глаза закроют?» – все шла с казаками обочь, да сокрушалась Евдокия, жена Петра Петровича.

Она его, благо что муж, больше никак и не называла – все Петр Петрович, да Петр Петрович. Привыкла так. Он, бывало, скажет: «Дуняшка, зови меня Петькой, а то конфуз получается!» А она: «Не могу – скажет, – язык не поворачивается!»

А всё потому, что Петр Петрович, балтийский моряк, был закадычным другом отца Евдокии, которого тоже Петром величали. Бывало, отец скажет: «Жениться тебе, Петро, надо. Забаловался, поди, по вдовам шастать?» А тот смеется, трубку покуривает, говорит: «Вон, когда твоя Дуняшка вырастет, тогда и женюсь, а пока погожу, по бабам похожу».

Лежит на печи девочка Евдокия, хихикает сама в кулачок – чудно Петр Петрович говорит: «На Дуняшке женюсь!» А я вырасту, да за такого старого не пойду!

Но вышло все иначе.

Выросла Евдокия. Как пряник стала, розовощекая, крепкая девка. А тут говорят: «Революция, мужики, пришла! Все теперь наше. Обчее. Бери, пользуйся!»

И брали. И пользовались. Совсем люда с ума посходили: кто христосоваться начал, а кто плевать да материться, да иконы выносить...

Вернулся в деревню со службы бравый моряк с большевистского крейсера «Олег» Петр Петрович Бажулин. Справа на поясе наган, слева на поясе бомбы, а в кармане бушлата писулька от самого Ленина. Маленькая бумажка, а страшнее всякого револьвера. Делай, что хочешь матрос Бажулин, а советскую власть в глубинке организуй, бедноту привлекни, пусть они к новой жизни прислонятся, богатых высматривай, на заметку бери, чуть что, стреляй, не бойся, ты сам себе судья и прокурор. Кончилась слюнявая болтовня о дисциплине и порядке. Революция – есть порядок!

Пришел Петр Петрович, бравый моряк к своему закадычному другу Петру, родителю Дуняшки, и встал под матицей столб столбом:

– Клянусь Карл Марксом – это Дуняшка!

Евдокия за занавеску спряталась. Хихикает. Хмельной моряк над своим другом подначивает, веселость свою показывает:

– А ты, землячок, все приторговываешь. Лавочку держать стал. Шило-мыло, – кому, что мило! Конфетки шуйские, пряники тульские! Отрекись от буржуйского дела, как другу говорю. Прикрой свою лавочку!

А, какая в деревне лавочка? Так, гребешки-расчески, да пуговицы костяные, да иголки с нитками, ну, конфетки сосульки. Раскидает по деревне – кому в долг, кому в рассрочку, кто сам расплачивается. Не ехать же в город за булавкой какой, или за сосулькой ребенку. Вот и снабжал своих сельчан отец Дуняшки и закадычный друг матроса Петра Петровича товаром первой необходимости, как теперь говорят.

Сел Петр Петрович, закинул ногу на ногу – брюки клеш до пола достают. Разговаривают с отцом. Дуняшка за занавеской.

– Ну, что Петро? Отдаешь свою Дуняшку за меня замуж. Выросла уже. Готова.

– А-а! – махнул рукой родитель. – Теперь все твое-ваше. Бери! Ты хоть и гол, как сокол, а – власть. Куда денется? По рукам! Бери Дуньку.

Не увидела Дуняшка свою зорьку девичью со вздохами да поцелуями воровскими.

Так и стала Евдокия женой Петра Петровича, матроса со звездой на лбу и писулькой от Ленина у самого сердца. Любил он Дуняшку по-хорошему, по-мужичьи, и блудить успевал по старым адресам, по ночам холостым шляться. Бывало бабы говорят Евдокии: «Дунька, твой-то у той и у той кобелится». Она со слезами к Петру Петровичу. А он: «Кого слушаешь, Дуняшка? Эти стервы что угодно придумают! Разве я тебя на кого променяю? Посмотри ты какая красавица!» Обнимал ее. Прижимал лапищами к себе. Она и растаивала вся. Засветится, заулыбается. Только однажды попался Петр Петрович: принесла Евдокия узелок в поле, обед кое-какой, а Петр Петрович в копне с ее золовкой копошатся. Ну, чистые куропатки! Она в слезы. А Петр Петрович и здесь вывернулся: «Мы – говорит, – с твоей золовкой мышей в копне пугаем. Страх их сколько развелось! Вот мы и шелестим в соломе, чтобы они в соседский омет сбежали.

Обиделась тогда Евдокия. Поставила узелок на землю и домой ушла, к родителю. А тот смеется: «Эка, делов-то! Нашла о чем сопли ронять. Он мужик стоящий, со всеми бабами в деревне переспал. Что ж тут такого?»

Насилу отец вместе со своим другом, теперь уже зятем, уговорили Евдокию вернуться в дом Петра Петровича. Но, обида до сих пор камешком под сердцем перекачивается...

Ведет Евдокия казаков атамана Мамонтова к своей из-

бе. Шатается вся. А вдруг Петр Петрович дома?! Зарубят на площади. Вспомнят того кузнеца-лазутчика и еще кое-что вспомнят за революционным матросом с легендарного крейсера «Олег» Бажулиным Петром Петровичем.

Вошли в избу, Евдокия осталась во дворе. Перевернули все. Чердак-погреб облазили. На чердаке сено переворошили. Сплава Богу! Не нашли заступника за бедную жизнь. Ушел моряк. Скрылся. Псину-то за что полосонули?

«От нас не скроется!» – ощерился казачок, отбросив пучок окровавленного сена в сторону собачьей будки и вогнав свою турецкую саблю в потертые кожаные ножны окованные пластинами серебра. Старинная, видать, сабля, трофейная.

Сразу стало тихо-тихо.

– Федька, ты саблю не ховай! Посуй ей копешку. Может комуняка туды сбёг? Пошныкай, пошныкай, а я по соседям пройдуся. В лес он уйти не моёт. Не заяц. Там наши караулят. А бабу пока постереги. Баба, она и есть баба, как вода. Сна сквозь пальцы уйде. Сам знаешь.

Мужик подошел к Калюше, потрепал за вихры, взял страшную кругляшку из его рук и ловко пристегнул ее опять к своему поясу. Мальчонка потянулся за игрушкой, и мужик, улыбнувшись, всыпал в его пухлую ладошку щепоть каленых семечек.

– Ну, я пошел!

– Дядя Митяй, а чего ее стеречь-то? Легше до канавы довести, да шлепнуть – казачок больно сунул короткий ствол

обреза Евдокии в живот. – Щас все скажет!

– Не тронь бабу! Она за мужа не в ответе. Лучше в стогу пошарь! – и легко перемахнув плетень, мужик пошел в соседскую избу.

Соседей дома не оказалось. Если что и не то – они не в ответе. Изба пустая. Может кто и заходил? Мы-то тут причем?

Митяй заглянул под печку, пошурудил рогачом. Серая, как осенние сумерки, кошка очумело шмыгнула промеж его ног, и все. Заглянул в печку – никого. Только красные угольки, весело перемигиваясь смотрели на него. Значит печку недавно топили. Соседи где-нибудь рядом, надо их позвать, Нагнулся к сундуку, который стоял тут же рядом, у печки. На старой вытертой овчине, прикрывавшей сундук, путались в слежалой шерсти с десятков зерен пшеницы. Поднял голову – вся лежанка завалена мешками. К чему бы это? В мешках зерно не сушат, да и до нового урожая еще далеко. Зачем на печку столько хлеба? Встал на сундук, да и давай кидать мешки на пол. Мешка три-четыре кинул, а далее – пусто! Ах, ты мать твою! Вот он, таракан запечный усы топорщит. А ну, вылезай на свет Божий!

Все! Хана! Отгулял, отжил на белом свете...

Петр Петрович вывалился на под, разогнулся, поднял голову – Митька стоит, сослуживец по флоту! Они на «Олеге» вместе палубу драили, водку пили и одну кашу хлебали. Когда Митька офицера кокнул, Петр Петрович ему помогал концы в воду опустить, к ногам колосники привязывал.

– Митька, стреляй сразу! Пожалей товарища! Ваши из меня кишки тянуть станут. Мы же с тобой, как братья жили! Стреляй!

Вдруг – хлесть в морду! Петр Петрович сам был под мастицу, а на ногах не удержался. Ударился затылком о полати, доску проломил. В ответ руки не поднял. Лежит, затылок щупает.

– Петро, фуй тебе в ребро! Зачем против России пошел? Пошто большевикам да евреям продался? Стрелять тебя – резону нет. Пытать тебя, конечно, будут. Где печать волостная и бумаги?

Петро достает из-за пазухи сверток. Протягивает.

Митька отодвинул на загнетке таган, открыл заслонку, и, матерясь, швырнул сверток в печь. Взлохматилось пламя, по стене тени заметались, к дверям кинулись, на волю. Эх, воля-воля!..

Молчит красный матрос Петр Петрович. Молчит белый бандит Митька. Молчат оба-два. Одному – канава, если в штаб отведут. И другому – канава, если отпустит. Война гражданская не от Бога, молиться некому. Сатана верх держит.

– Ладно, Петро! Лезь на печь. Я тебя снова мешками закидаю. Видать не пришла еще смерть твоя. Теперь на том свете свидимся. Давай руку!

Поднялся Петро, зубы стучат, на дворе слышно. Обнялись.

А на утро ускакал Мамонтов, оставил Сатинку, село рязанское снова во власть красного матроса Бажулина Петра Петровича, чудесным образом, спасшимся от верной гибели.

– Видишь, какие товарищи были! – говорила мне Евдокия Петровна, жена Петра Петровича, баба Дуня, как называла ее моя жена, которой она была бабушкой по матери. – Ножи друг против друга точили, а дружбе верны были. Ох, и напугалась я тогда! Когда тот чернявый собачку располосовал. Хороша девка была, умная, чужого на шаг не подпустит! – Баба Дуня задумчиво уставилась в окно, где за городом в огневом кружале, как черный пепел летало воронье. – Метель завтра будет. Ты на работу теплой одевайся, а то опять скажешь: «Водкой грелся, замерз весь!»

Бабушка Дуня, кряхтя и охая, пошла к голландке, готовить на плите ужин. Скоро из института должна придти ее внучка.

Я в то время жил за городом, на квартире, удобств никаких. А здесь еще и дочь родилась. Жена – студентка. Вот и приехала незабвенная баба Дуня молодоженам семейный уют устраивать, по дому поглядеть, досмотр жизни учинить, чтоб не баловали. Уж, больно, приткие оба!

Приехала. Стоит в дверях. Лицо круглое, рязанское, нос картошкой. Шаль старинная теплая в крупную клетку, жакет плюшевый на вате, юбка темная суконная, валенки с калошами. Знает, что заждались ее. Улыбается.

– Проходить что ль?

Я дома один. Дочь пеленками скрученная от тесноты ма-
ется. Зеваает в коляске, а спать никак не хочет.

– Ах, как хорошо, что приехала! – кидаюсь к порогу. Стул
ставлю.

– А, что, к столу нельзя что ль?

– Бабушка Дуня, да что ты! – стул, узлы к столудвигаю. –
Проходи! 2

Дочь криком занялась. Я – туда, сюда...

– Эх, горластая какая! Вся в отца. Пусть голосок пробует,
я послушаю.

Бабка Дуня уже к тому времени была туговата на ухо, чем
я потом неоднократно пользовался. Значит, дочь кричала
по-настоящему.

Гостя раздевается. Снимает калоши. Приложила руки
к голландке. Греется. Подходит к дочке. Вынимает из коляс-
ки. Провела по попке – сухо. Потрогала за носик:

– Ах, грибок, какой! Почеловечела. Ну-ну! Не квасься!

Прижала к фланелевой кофте. Дочь, чмокнув губами, за-
молчала.

– Вот умница! Бабку старую признала. За родню почла.

Положила снова в коляску. Дочь посапывает, заснула.

В избе тепло. Печь жаром дышит. Уголька с работы при-
вез порядочно. Начальник бумагу подписал, шутит: «Жги! –
говорит. – Папаня! Детей в тепле содержать надо. Потом они
тебя вилами на печь сажать сами будут. Тоже согреется! –
смеется. – Не замерзнешь».

Теперь топлю, не жалею. От порога к печке на бельевой веревке пеленки, как спущенные флаги юности. От пеленок теленочком пахнет. Хорошо. Как в детстве моем далеком, невозвратном...

Пока шурован кочергой в поддувале, колосники прочищал, оглянулся – на столе белотелая индюшка на полпудика ноги топорит, цыплята-каплуны жирные круглятся, розовый брусок ветчины на холстинке – влажные крупчики кинзы с укропом, как соринки прилипли. Рамка воины окно загорела, но медок изнутри электричеством горит, вроде, солнечный свет закатный в комнате, жбанчик алюминиевый – крышка бичевой крест на крест перевязана, резиновой прокладкой укупорена – не расплескать чтобы.

Ах, бабушка-бабушка! А у меня картошка отварная с утра в уголке томится. Достал. Поставил на стол кастрюлю. Огурчики из Бондарей бочкового засола, мятые, как спущенная волейбольная камера, но ничего, есть можно, тоже достал, вынул из рассола, положил на тарелку.

– Есть давай!

– Она, дорога кого хоть уморит. Дай отдышусь, а потом посидим. Убери канку! – это она так индюшку называла, – да курей этих на мороз. Подалее положи, чтобы кошка не достала!

Хозяйскую кошку за ее нечистоплотность я еще с осени определил в надежное место. Оттуда не возвращаются. Я ее для отвода глаз, при жене и хозяйке покликал несколько

раз – на том дело и кончилось. Новую кошку заводить не стали. Ждали, пока старая вернется. Я во все углы мышеловки расставил, так что и мышей перевел.

Вытащил птицу в коридор, газетами перестелил, сложил в ящик фанерный из-под спичек. Накрыл дерюжкой. Пусть отлеживаются. Лапши хлебать не перехлебать! Вот это бабка Евдокия! Вот это гостечек дорогой, да к вечеру!

Захожу в избу. В пару весь. Смеюсь, потираю руки.

– Озяб никак? участливо спрашивает гостя.

Жбанчик стоит на столе, мурашками покрылся. Догадываюсь, что там плескалось.

– Да, морозец на улице знатный. От печки разве согреется! – намекаю я весело.

– Ну, давай, посумерничаем. Твоя студентка скоро придет?

– Не-е! У нее занятия. Коллоквиумы. Зачеты.

– Тогда садись, жбан распечатай.

Срываю бичеву с крышки. Горько-хвойный запах с рябиновым привкусом дразнит обоняние. Чего томиться? Наливаю в голубые чашки поровну. Евдокия Петровна с дороги да с морозца выпьет. В этом отношении она не ханжа. Да еще в честь рождения правнучки – сам Бог велел.

Бабушка Дуня выпила, чуток через левое плечо плеснула. Остаток – бесу в глаза, он на левом плече сидит. Пусть в наш разговор не вмешивается. Ангел-хранитель – на правом плече доброе на ухо шепчет.

Морозные узоры, выросшие еще с перевозимья расцветать стали, румяниться. Вечереет.

Я наливаю еще. Евдокия смотрит на меня внимательно, не сморгнет.

– Давай за мою дочку выпьем, баба Дуня!

– За дочку, говоришь? Что ж, за дочку можно.

Выпили еще. Снова через левое плечо бесу глаза замочила. Закусываем. Сало, то ли с мороза, то ли с хорошего посола на хлеб мажется. В огурцах, как в стакане – рассол добрый. Картошка, томленная в масле, губы обжигает, рассыпается. Разрумянилась Евдокия, как те узоры в окнах, закатным огнем подпаленные. В избе сумерки зашептались, с дневным светом избу делят. Евдокия смотрит пристально. Что-то сказать хочет.

– Ну, вот что, свет мой ясный, выпили мы с тобой настойки моей заговоренной. Отшлялся ты по чужим девкам. Теперь ты весь для внучки моей ненаглядной. Не веришь? Ну, потом сам догадаешься.

Я закуриваю, хлопаю себя по коленям. Смеюсь. Сочиняет старуха!

– Давай запоем что-нибудь старинное!

– Так, дочка проснется!

– А, я потихоньку. В полголосочка.

– Ну, давай!

Бабушка развязывает платок бязевый в черный горошек. Тихонько запекает: «Когда б имел златыя горы и реки полные

вина...» Я подтягиваю: «Все отдал бы за ласки, взоры, и ты владела б мной одна».

Входит жена.

– Ах, бабушка! Молодец ты, какая! Сама приехала!

Ухватила за плечи, целует. Снежок на скатерку сыплется, бусинками в меховом воротнике путается. От морозной шубки антоновкой тянет. Водой родниковой... «Когда б имел златые горы...»

На завтра вставать рано. Работа монтажная, утробистая. На жизнь зарабатывать надо – семья. Днем горбачусь, а по вечерам в институте мозги шлифую. Вовремя: не учился, шалавился. Теперь догоняю, что уехало.

...В избе свет. Печка поленьями потрескивает, как будто кто семечки грызет. Бабушка за столом сидит, ладонь на ладонь сложила, как – у праздника. В большой обливной миске картофельные драники жиром пузырятся, горячие. Рядом, в голубой чашке толченый чеснок с красным перцем в подсолнечном масле – соус для драников. Хорошо! Позавтракаю плотно. Рабочий день не так долго тянуться будет. Скашиваю глаз на заветный жбанчик.

– Ну, что ж, похмелись, чего зря головой маяться!

Пока жена не проснулась, наливает махонькую стопку. Двигает ко мне.

– Не обижайся, полечиться хватит, а гулянку с утра нечего устраивать. Сам говоришь, работа тяжелая. А выпимши – какой из тебя работник!

Одним глотком обжигаю небо. Кунаю драник в соус. Закусываю. Внутри жарко становится. Припекает. Вроде, как летнее солнышко взошло. Запиваю капустным соком, еще с вечера приготовленным. Хорошо! На разговор тянет.

– Баба Дуня, и где это ты так классно готовить научалась?

– Сиди, ешь! Завтракай! Как-нибудь опосля расскажу.

А рассказать было что.

Красные оказались бойцами напористыми. Выкурили Мамонтова из Сатинки, и вновь установилась власть большевиков. Петр Петрович к этому случаю побрился, надел новую рубашу и занял свое прежнее место в волости. Надо начинать работать. Спрашивают: «Почему не дал отпор Мамонтову. Как уцелел? Где хоронился? Давай печать, бумаги, работать надо! Протоколы, решения где?»

Петр Петрович хорохорится: «Что за допрос? Я под казаков не ложился. Бумаги и печать зарыл в огороде впопыхах. Где зарыл – не помню. Пошли огород копать. Вскопали соток десять молодой картошки, бросили лопаты.

– Поехали в губчека!

Увезли. Там вопросы ставят с подвохом: «Пособничая! Расстрелять бельдюгу!»

Евдокия Петровна у комиссара в голос завыла. Сует бумажки наградные, царские.

– Ага! – говорит председатель ЧК. – Налицо скрытый враг.

Перебрали документы, глядят – бумажка одна, серая,

оберточная. На ней подпись самого Ленина, и предписание – использовать большевистского матроса Бажулина Петра Петровича в революционных целях в связи с высокой коммунистической сознательностью представителя Ревбалт-флота.

Покрутил высокий начальник ручку телефона: «Такой-то, такой-то не расстрелян?» «Нет!» – отвечают. – Просим извинить. «Еще не успели – очередь». «Отставить! Введите матроса!»

Ввели. Петр Петрович – к столу. Евдокию не замечает. «Память – говорит, – отшибло! Вот вам, крест! Хотел, было перекреститься, руку поднял, да, видать вспомнил, где находится.

– Клянусь Матерью-Революцией! Потерял бумаги! Стреляйте подлеца за трусость!

Начальник, представитель самого неугомонного революционного племени, задышливо прокашлялся, вытер рот платком и качнул кучерявой головой в сторону Евдокии.

– Вот твоя спасительница! Ей кланяйся. А Бога не вспоминай. Ему здесь не место. За потерю бдительности лишаю тебя должности председателя волости. Забирай жену, а то она у меня всю кумачовую скатерть промочила, и возвращайся домой. Нам агитаторы за новую власть везде нужны. Когда понадобится, позовем снова, а теперь – без надобности! – и, не пожав руки, председатель убойной конторы отвернулся к окну.

Так Петр Петрович дважды за одну неделю умирал и рождался снова.

В родном селе Сатинка представительной работы не находилось. Отвыкший за долгое время службы на флоте и в волюсти от каждодневного крестьянского труда, Петр Петрович стал вновь прикипать к земле. А, куда деться? Семья. По ночам крутил самокрутки, вздыхал по прежней жизни, шумливой, но не обременительной.

Гражданская война, пожрав мужиков своих, детей земли русской, сытно отрыгнув на крымском перешейке, свернувшись в тугой узел, задремала, то ли на дне Черного моря, то ли в зеленых долинах Кавказа.

Началась новая непонятная жизнь, от старого мира отреклись, а к новому – оказались не готовы. Пахали и сеяли по-прежнему, а урожай убирали по-новому: приезжали пристрастные уполномоченные на подводах, составляли какие-то бумаги, и увозили зерно прямо с подворья, хорошо, если у кого захоронка в ямах останется – до весны как-нибудь прокрутиться, а там, снова уполномоченные составляют бумаги: что где посеял, сколько излишков государству отдашь. А какие там излишки! У крестьянина всю жизнь так – то понос, то золотуха. То корова не стельная, то лошадь пала.

Мужики к Петру Петровичу: «Объясни – говорят, – за какую жизнь ты нас агитируешь? Не догоним мы умом своим. Может Ленин твой, действительно, германский шпион и Россию извести хочет? Вон на тамбовщине ждать да дого-

нять не стали, с вилам на комиссаров пошли. Скажи, когда и нам выступать? Дети гибнут от бескормицы».

Петр Петрович и сам не поймет, куда его прежние товарищи повернули. Задом наперед теперь пошли, дороги не видят.

Молчит большевистский матрос Бажулин, самокуркой дымит. В свое оправдание слов не находит, материться только. Говорит, что дорога к новой жизни извилиста, а линия партии пряма, как ствол трехлинейки. После ночи рассвет будет.

И действительно, объявили комиссары НЭП. Богатей – кто может! Маленько вздохнуло крестьянство. Барышники и спекулянты урожай, хоть за небольшие, да деньги, с корню скупать начали. Отец Евдокии снова лавочку открыл: шило-мыло, маслице гарное, нитки-пуговицы да иголки швейные продает. Помогать дочери стал, внучонку своему. А тут у Евдокии и у Петра Петровича оказия случилась – Елизавета, дочка родилась. Тоже губы тянет «мня-мня» просит. Теперь оба-два. Ничего – будем жить, не помрем! Евдокия – в поле, Петр Петрович своему дружку-тестю в торговле помогает. Из города товар привезет, и пряников печатных Евдокии и деткам своим. Маркетинг! Туда его мать! Стыдно моряку барышничать, а надо.

Все бы ничего, а тут новая напасть – запретили НЭП. Нетрудовые доходы! Люда богатеть стали – нехорошо! Революция была сделана для бедных, чтобы сытых изводить,

а вон он, кулак-разгуляй мощной трясет. Нехорошо!

Прикрыли лавочку. Вызывают Петра Петровича в во-
лость, вспомнили бывшие друзья-товарищи. «Ты – гово-
рят, – в Питере буржуям горячим свищом пятки мазал,
теперь своих односельчан умасливай, разнарядка пришла
в колхозы объединяться. Соберешь колхоз – председателем
сделаем. Снова партийный билет вместо пропавшего выпи-
шем. Нам такие люди, как ты, очень нужны, мы кадрами
не разбазариваемся. Действуй!

Воскрылил бывший моряк большевистско-ленинского
призыва, снова к штурвалу становятся, рулить разрешают. Как
малого ребенка, игрушкой поманили!

Евдокия не узнает своего хозяина. Ходит по горнице, хро-
мовыми сапогами скрипит, снова матросский бушлат надел,
самокрутку выбросил, трубочку-носогрейку, еще служивых
времен, из комода достал. Посмеивается. «Я, – говорит –
начну в колхоз писать со своих братьев. Живут они справ-
но, хозяйство ладное. В отцовском пятистенке правление
устрою, контору. Ничего! Будут корячиться, я и на них упра-
ву найду. Слава Богу, партбилет опять в кармане! Не шило,
а щекочет. Вот он! – и хлопает себя по бушлату».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.